

Восстание Пугачёва в историографии Центральной и Западной Европы первой четверти XXI в.

Марко Наталици

Pugachev's uprising in the historiography of Central and Western Europe of the early 21st century

Marco Natalizi
(University of Genoa, Italy)

DOI: 10.31857/S2949124X23060019, EDN: NRAHBZ

История Пугачёвского восстания в последние четверть века переживает процесс переосмысления аналитических категорий, предыдущие 70 лет применявшихся в историографии. Этот процесс полностью перевернул положения, считавшиеся прочно устоявшимися, с последующим пересмотром теоретических основ, на которые они опирались. Невозможность связать социальную диалектику с классовой борьбой за контроль над средствами производства распахнула двери для анализа многочисленных форм конфликта и поставила под сомнение саму применимость понятия класса к доиндустриальным обществам. Новые концепции, развиваясь в разное время, разными путями и с разными целями, проистекали из общего начала — критики марксистской интерпретации пугачёвщины.

При этом нельзя не отметить мизерное количество исследований о событиях, посвящённых Пугачёвскому восстанию, в современной российской историографии. Настолько мизерное, что В.Я. Мауль пишет об отсутствии за пределами узкого круга специалистов какого-либо интереса к этому периоду серьёзного социально-политического кризиса, отношение к которому можно охарактеризовать как смесь неприятия и разочарования¹. Неприязнь возникает зачастую из-за непонимания сути событий, плохо вписывающихся в процесс государственного строительства России, усилением политической централизации и гармонизации законодательства, которая, как утверждается, достигла своего пика при Екатерине II². Как следствие, бунт 1773—1775 гг. представляется «аварийной случайностью», последней попыткой сопротивления примитивных сил, враждебных новой форме государственности. Но если в работах последних лет российские исследователи избегали рассмотрения вопросов, связанных с общей трактовкой повстанческого движения, то за пределами России вопрос оказался более сложным. В начале XXI в. исследования, посвящённые восстанию Емельяна Пугачёва, публиковались главным образом историками Италии,

© 2023 г. М. Наталици

¹ Мауль В.Я. Российская историография начала XXI века о пугачёвском бунте (некоторые аспекты проблемы) // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. № 4(37). С. 160.

² Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999; Liechtenhan F.-D. Catherine II. Le courage triomphant. Paris, 2021.

Франции и Германии³. Я считаю полезным проследить этот путь, поскольку сегодня можно более отстранённо взглянуть на историографию пугачёвщины и лучше понять обстоятельства и способы её формирования и дальнейшей разработки.

Схема классовой борьбы в советской историографии, в течение нескольких десятилетий дававшая ключ к пониманию смысла восстания, была признана неадекватной для изучения явления во всей его сложности. Утвердившаяся в 1920-х гг. и доминировавшая полвека, эта схема сводится к двум фундаментальным понятиям: социальному определению пугачёвщины как величайшей из «крестьянских войн», когда-либо происходивших в России, и её прогрессивной роли, поскольку в ходе бунта в российских народных массах возникли первые зародыши революционного сознания⁴.

Однако, пересматривая советскую интерпретацию пугачёвщины как классовой войны между крестьянами и дворянами, американские и западноевропейские историки второй половины XX в. подчёркивали другие аспекты восстания. В ходе исследований, начатых М. Раевым, продолженных П. Авричем и Дж. Александером, а затем А. Каппелером⁵, была предложена интерпретация, в рамках которой оно понимается в первую очередь как движение за восстановление казачьей автономии, подавленное правительством, и протест периферийных этнических групп и национальностей, которые боролись за уменьшение контроля со стороны централизованного государства. Проблематика «защиты древних автономий, особенно в периферийных районах империи», и религиозной терпимости как существенных элементов пугачёвского бунта стала центральной уже в труде Ф. Вентури, посвящённом отзвукам пугачёвщины в Италии⁶. Согласно этой историографической традиции, восстания такого рода, даже когда они подпитывались социальными конфликтами и приводили к положительным результатам, следует рассматривать не как выражение нового порядка, а как сопротивление преобразующей силе государства, связанное с борьбой за автономию элит и народным протонационализмом.

Одной из наиболее распространённых схем, которой в последние годы отдаёт прочтение значительная часть историков за пределами России, стала кон-

³ *Griesse M.* Popular memory and early modern revolts in Russia. From Razin to Pugachev // *Rhythms of revolt: European Traditions and Memories of Social Conflict in Oral Culture*. L.; N.Y., 2017. P. 198–216.

⁴ *Мавердин В.В.* Советская историческая литература о крестьянских войнах в России XVII–XVIII веков // *Вопросы истории*. 1961. № 5. С. 24–47; *Neutatz D.* Die Umdeutung von Razin und Pugačev in der Sowjetunion unter Lenin und Stalin // *Kosakische Aufstände und ihre Anführer* / Ed. M. Griesse, Stuttgart; Steiner, 2017. S. 113–131. Только Н.А. Рожков в 1920-е гг. сформулировал иную интерпретацию, подчёркивая архаичный и ретроградный характер пугачёвского движения, обращённого в прошлое и ещё более жестокого, чем гнёт царского правительства (*Рожков Н.А.* Методика преподавания истории и история XIX века. Пг., 1918. С. 23; *Рожков Н.А.* Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Т. 4. Ч. I. Пг., 1922. С. 8–15; Т. 7. Пг., 1923. С. 77–78).

⁵ *Raeff M.* Pugachev's Rebellion // *Preconditions of Revolution in Early Modern Europe*. Vol. 10. Baltimore; L., 1970. P. 161–202; *Avrich P.* Russian Rebels 1600–1800. N.Y., 1972; *Alexander J.T.* Emperor of the Cossacks. Pugachev and the Frontier Jacquerie of 1773–1775. Lawrence (Kansas), 1973; *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich. München, 1993. S. 132; *Kappeler A.* Russlands erste Nationalitäten. Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Köln; Wien, 1982; *Kappeler A.* Russlands Frontier in der Frühen Neuzeit // *Frieden und Krieg in der Frühen Neuzeit. Die europäische Staatenordnung und die aussereuropäische Welt*. München, 2001. S. 599–613.

⁶ *Venturi F.* Settecento riformatore, III. La prima crisi dell'antico Regime (1768–1776). Torino, 1979. P. 160.

цепция, изложенная А. Береловичем. Он делал особый упор на изучение состава повстанческих сил, чтобы оспорить советскую парадигму крестьянской войны, одновременно утверждая представление о восстании как о явлении со сложной структурой. Крестьяне, несомненно, участвовали в бунте, на первых этапах движения это были посессионные крестьяне, т.е. доиндустриальные рабочие; однако они играли лишь второстепенную роль⁷. По мнению В. Береловича, пугачёвщина, не являясь ни классовым столкновением, ни конфликтом между двором и страной, была эпизодом сопротивления централизаторской политике Екатерины II, лакмусовой бумажкой противоречий многонациональной монархии⁸.

Но даже этот преобладающий в западной историографии тезис, трактующий пугачёвщину как «пограничное» восстание против екатерининской централизации, оставляет пространство для дальнейшего осмысления. Отказ от однолинейной перспективы в эволюции современного государства и подчёркивание вариативности путей, приведших к оформлению бюрократической системы, потребовали обновления традиционной интерпретации конфликта как необходимого следствия централизации. Понимание неоднозначного характера государственного вмешательства не позволяет трактовать восстание как сопротивление отдельных классов или некоторых автономных компонентов «прогрессивным носителям новшеств», внедряемых правительством⁹.

Некоторые оценки последних лет вышли далеко за рамки концепции «пограничного восстания», подвергнув сомнению эту парадигму¹⁰. Переосмысление специфики политического аспекта пугачёвщины является наиболее новаторской чертой этой историографической линии, отдающей предпочтение интерпретации документов местных общин второй половины XVIII в., адресованных центральным властям, а также составленных в лагере повстанцев. Исчерпание возможности представления социальной истории как «истории людей без политики» и возвращение к нарративным методам изложения нередко способствовали переоценке автономии политической сферы¹¹.

На крайности националистических изысканий, которые с 1990-х гг. интерпретировали пугачёвщину как «пограничное восстание» и провозглашали одной из его причин стремление защитить старые автономии, новейшая историография ответила возрождением политической тематики, выступив также против попыток представить его как ретроградное движение¹². В новейших работах наметилась тенденция к интегрированию поиска причин бунта с более тщательной оценкой его долгосрочных и глобальных последствий¹³. В рамках этой концепции события 1773–1775 гг. рассматриваются как причина ради-

⁷ Berelowitch A. Une jacquerie moderne: la révolte de Pougatchev (17 septembre 1773 – 15 septembre 1774) // *Revue russe*. 2005. № 27. P. 48, 50.

⁸ Berelovitch W. Aux origines de l'insurrection de Pougatchev (1773–1775): la cosaquerie russe // *Ruptures de la fin du XVIII-e siècle*. Paris, 2005. P. 39–50.

⁹ Cecere D. Violenza, resistenze, progettualità politica. La ribellione di Pugačev // *Studi Storici*. Ottobre–dicembre 2012. Anno 53. № 4. P. 1017–1025.

¹⁰ Berelowitch W. Guerres civiles et révoltes populaires dans la Russie des XVIIe et XVIIIe siècles // *La Guerre civile*. Hermann, 2018. P. 222–224; Plate A. Der Pugačev-Aufstand: Kosakenherrslichkeit oder sozialer Protest // *Volksaufstände in Russland. Von der Zeit der Wirren bis zur «Grünen Revolution» gegen die Sowjetherrschaft*. Wiesbaden, 2006. S. 353–396.

¹¹ Natalizi M. Emel'jan Ivanovič Pugačëv: una rilettura // *Storica*. 2010. № 47. P. 61–102.

¹² Berelowitch A. Une jacquerie modern... P. 51–54.

¹³ Griesse M., Barget M. *Revolts and Political Violence in Early Modern Imagery*. Brill; Leiden; Boston, 2022.

кальных перемен прежде всего на интеллектуальном и транснациональном уровнях. Становится актуальным тезис, согласно которому последующие восстания являются частью общего интеллектуального климата, созревшего на «революционных» примерах последних трёх десятилетий XVIII в.¹⁴

Опираясь на недавние исследования, я попробую вернуться к вопросу о политическом значении восстания Пугачёва, проследить процесс разрушения концепции этнического бунта (не ради оспаривания её обоснованности, а в качестве предостережения от одностороннего подхода). Критика этой парадигмы привела к частичному отказу от анализа проблем «национальности» или «пограничного восстания». Историкам необходимо переосмыслить антагонизм, основанный на политическом опыте конфликта, отказаться от механистических описаний российского социального мира и этнического ландшафта, уделяя повышенное внимание совокупности потребностей, убеждений и устремлений исторических деятелей¹⁵.

Главным следствием постоянного, хотя и нерегулярного внимания западных историков к Пугачёву стала тенденция исследовать коммуникативный аспект политического конфликта, сосредоточившись на языке, выражавшем требования повстанцев. Этому немало способствовало введение в научный оборот в 1970–1990-е гг. огромного количества материалов, особенно документов из лагеря бунтовщиков и протоколов допросов следственных комиссий¹⁶. Были подняты проблемы, ранее отодвигавшиеся на второй план: роль самозванства, политическое значение восстания, культура пугачёвщины (образы конфликта, предлагаемые самими участниками), выдвигаемые ими социальные идеи суверенитета, норм и ценностей¹⁷. Именно в такой обновлённой перспективе некоторые учёные смогли увидеть в насильственных протестах, подобных пугачёвщине, элемент более широкой борьбы, ведущейся на нескольких уровнях. Речь идёт о политическом измерении бунта, представляющего как способ диалога о власти и формах её осуществления, как попытка вмешательства подданных в публичное пространство с целью давления на правительство¹⁸. Среди работ на эту тему следует отметить статью К. Шарфа, пытающегося переосмыслить символы, ритуалы, жесты, коллективное поведение, т.е. практики передачи сообщения противостоящей стороне¹⁹.

Действительно, линия осмысления феномена самозванства, начатая Шарфом в очерке 2003 г., оказала большое влияние на европейскую историогра-

¹⁴ *Griesse M. Pugachev Goes Global: The Revolutionary Potential of Translation // Reverberations of Revolution. Transnational Perspectives, 1750–1850. Edinburgh, 2022. P. 13–35; Griesse M. Pugačev-Bilder vor der Kanonisierung: Transnationale Deutungskämpfe in der Vormoderne // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2017. Bd. 65. № 1. S. 52–72.*

¹⁵ *Natalizi M. La rivolta degli orfani. La vicenda del ribelle Pugačev. Roma, 2011.*

¹⁶ Документы ставки Е.И. Пугачёва, повстанческих властей и учреждений / Отв. ред. Р.В. Овчинников. М., 1975; *Овчинников Р.В. Манифесты и указы Е.И. Пугачёва. М., 1980; Воззвания и переписка вожakov пугачёвского движения в Поволжье и Приуралье / Сост. М.А. Усманов и др. Казань, 1988; Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва в Марийском крае / Сост. А.Г. Иванов. Йошкар-Ола, 1989; Емельян Пугачёв на следствии. Сборник документов и материалов / Сост. Р.В. Овчинников. М., 1997; *Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И. Пугачёвым и его сподвижниками. М., 1995.**

¹⁷ *Perrie M. «Royal Marks»: Reading the Bodies of Russian Pretenders, 17th–19th Centuries // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Vol. 11. № 3. Summer 2010. P. 535–561.*

¹⁸ *Natalizi M. La rivolta degli orfani...*

¹⁹ *Шарф К. Пугачёв: император между периферией и центром. К постановке проблемы // Ab Imperio. 2003. № 1. С. 99–113.*

фию последних десятилетий и ознаменовала отход от традиции, склонявшейся к устаревшему восприятию пугачёвщины как социального или казачьего восстания. Введя в дискуссию справедливую переоценку мифа о «крестьянском царе», Шарф помог критически осмыслить многие моменты движения, в частности, некоторые характеристики изображения государя в документах повстанческого лагеря. Заявив, что образ Пугачёва не имеет ничего общего ни с традицией московских царей, ни даже с образом «крестьянского царя», а явно отсылает к петровской имперской традиции, он очистил почву от идеологизирующих интерпретаций, приписывающих действиям крестьянских масс реакционный и ретроградный характер²⁰. Несомненным достоинством этого подхода стало то, что он позволил выявить следы такого «видения власти» восставших, в котором встреча воспоминаний и воображения даёт жизнь «бескомпромиссной борьбе за завоевание абсолютной власти в империи» — политическому проекту, своим общеимперским масштабом выходящему за пределы узкого культурного и социального кругозора окраин и отдельных народностей²¹. Более того, только принимая во внимание ощущение «брошенности» российских подданных, на которое указал в своё время Раев и которое подчёркивает Шарф, можно понять реальный смысл рассмотрения через призму мифа о Петре III петровской традиции, постоянно всплывающей в прокламациях и манифестах Пугачёва, — программы, предлагавшей царю и государству для защиты своих подданных-«сирот» решиться на вторжение в сферы, в которые те ранее не смели вмешиваться.

Вопросы, поставленные Шарфом, стали отправной точкой для ряда исследований, касающихся «политического» значения мифа о «царе-освободителе», выраженного в типичных для пограничного и крестьянского мира формах представлений о государственной модели, сложившейся в результате петровских реформ и вырождавшейся при преемниках первого императора. В последнее десятилетие успехом увенчались исследования К.С. Ингерфлома, посвящённые событиям 1773–1775 гг., где предпринята попытка прояснить особенности репрезентации власти, а значит, и миф о Петре III, противопоставленный восставшими государству Екатерины. Автор анализирует нюансы концептуального универсума, способного выработать через самозванство собственную, пусть примитивную и громоздкую, концепцию государственного устройства, в которой последователи Пугачёва видели альтернативу образу правления Екатерины²².

Книга Ингерфлома — это труд о самозванстве в русской истории. Но, говоря о восстании 1773–1775 гг., автор сконцентрировал внимание на «серийном самозванстве». Именно эта особенность, по его мнению, в наибольшей степени характеризует пугачёвщину. Действительно, решение значительного числа предводителей повстанческой армии взять имена ведущих представителей правительства Екатерины, сделав положительными героями фигуры тех, кто скорее был объектом презрения, стало особенностью этого явления. Это даёт повод задуматься о том, что, учредив 6 ноября 1773 г. в Берде Военную коллегию, мятежники заложили фундамент для мифа о Петре III, а вместе с тем и для представления о государстве, более чутком к нуждам и интересам

²⁰ Там же. С. 100.

²¹ Там же. С. 101.

²² *Ingerflom C.S. Le Tsar, c'est moi: L'impoture permanente, d'Ivan le Terrible a Vladimir Poutine.* Paris, 2015.

народа²³. Создание Военной коллегии, где атаман А.А. Овчинников принял имя гр. Панина, а И.Н. Зарубин-Чика — гр. Чернышёва, обеспечило пугачёвцам единую организацию и руководство. Во главе начинающегося бунта могли встать не отдельные отряды, не казачество, а организованная сила, которая выдвинет народные требования и будет до конца верна им. Координирование действий, равно как и вовлечение в восстание всех общественных групп было необходимо во избежание межэтнического раскола. Военная коллегия в Берде и штаб Зарубина-Чики в Уфе стали центрами политической коммуникации, состоявшими из людей, преданных своему делу, готовых собрать и вести за собой повстанческие силы.

Это направление исследований привлекло внимание историков к двум важным вопросам. Первый — об устойчивости некоторых категорий, недавно использовавшихся в западноевропейской историографии для интерпретации восстания, таких как «пограничное восстание» или «казачье восстание». Несмотря на несомненные и многочисленные достоинства, такой взгляд часто демонстрирует «иконоборческую» логику, реагируя на способы представления восстания и самого Пугачёва, связанные в основном с интерпретацией восстания в ключе «крестьянской войны».

Второй вопрос подразумевает пересмотр «программы» пугачёвщины и её политического содержания целом. Вновь возникла необходимость переосмысления интерпретаций социально-экономических, политических и этнических мотивов восстания. Не случайно новейшие исследования инородческих групп, как, например, фундаментальный труд Ч. Стейнведела, заставляют осознать невозможность выделения единой социальной базы движения, которое, «без сомнения... началось как казачье восстание и закончилось широким восстанием против крепостного права, охватившим территорию от Казани на севере до берегов Каспийского моря на юге и от Тамбова на западе до восточных склонов Уральских гор. Однако большинство тех, кто сражался с войсками императрицы, не были казаками, а многие, участвовавшие в мятеже, не были крепостными, и крепостная зависимость им не грозила. Мусульмане в целом и башкиры в частности сыграли решающую роль в восстании. Без их участия восстание, скорее всего, так и осталось бы тем локальным казачьим мятежом, которым руководство империи считало его изначально»²⁴. На основе протоколов допросов пленных повстанцев и документов из штаба «Петра III» исследование Стейнведела раскрывает всю сложность социальных и этнических процессов, показывает состав инородческих групп, проживавших между средним течением Волги, Камы и Урала. «Башкирские элиты и религиозные деятели заявляли о поддержке Пугачёва ещё до осады Оренбурга, — констатирует он. — Казалось, они видели в его движении силу, которая защитила бы их земли и свободу вероисповедания, одновременно снизив налоговое и служебное бремя. На допросе в секретной комиссии по расследованию восстания Пугачёв позже вспоминал, что башкирский староста Кинзя Арсланов к началу октября привёл отряд из 500 человек, а в конце месяца — 5 тыс. человек. К концу 1773 г. башкирские отряды, прибывшие в штаб Пугачёва, насчитывали от 10 до 12 тыс. человек, что составляло от трети до почти половины предполагаемой численности повстанцев. Остальные участвовали

²³ Ibid. P. 213.

²⁴ Steinwedel C. *Threads of Empire: Loyalty and Tsarist Authority in Bashkiria, 1552–1917*. Bloomington, 2016. P. 70.

в осаде Уфы и других операциях. Из 120 человек, назначенных офицерами “Военной коллегии” Пугачёва, 44 были мусульманскими муллами. Администрация Уфы подтверждала массовую поддержку Пугачёва среди нерусского населения: 77 из 86 башкирских, 37 из 40 мецерьяцких старост и почти все башкирские дворы так или иначе помогали ему. Похоже, повстанцев поддерживало большее количество местного населения, нежели сражалось с войсками императрицы в войне 1735–1740 гг. и восстании 1755 г., что свидетельствует об ослаблении позиций имперского центра среди нерусского населения»²⁵.

С этими соображениями, однако, тесно связана необходимость осмысления «видения» повстанческих сил. Разумеется, историки не ставили перед собой задачи отрицать основополагающую роль казачества, давшего начало восстанию, и не оспаривали военного значения казачьего ядра или башкирских воинов²⁶. Но жёсткое отождествление движущей силы пугачёвщины с этими двумя группами привело к тому, что в оценке «политического» характера бунта отводилось мало места для осмысления этнического и религиозного факторов. Из многообразия представлений отдельных групп или этносов о своём месте в государственном устройстве России возникает и утверждается специфическая форма «видения», лежавшая в основе пугачёвщины, на культурном и религиозном уровне нашедшая отображение в «самозванстве Петра III»²⁷. На социально-правовом уровне это привело к сожалениям о разрушенной государственной модели Петра I, как она воспринималась народными слоями вне зависимости от исторической реальности — в частности, о подконтрольности дворянства и покровительстве крестьянским и городским общинам, казачеству и полукочевому населению со стороны государя и чиновников.

И именно этот вопрос я поднял в моей книге 2011 г. — насколько мне известно, единственной за пределами России монографической работе первой четверти XXI в., посвящённой Пугачёвскому восстанию. Это была попытка изучить представления о власти и, следовательно, миф о Петре III, который повстанцы противопоставляли екатерининскому правлению, путём пересмотра роли в восстании казаков, различных категорий крестьян (помещичьих и церковных, но прежде всего государственных, включавших в себя, помимо русских, также татар, удмуртов, марийцев, чувашей и мордву), рабочих уральских заводов и полукочевого населения. В книге анализируются черты мировоззрения, альтернативного екатерининскому государству, несомненно, примитивного, но способного выработать собственную своеобразную концепцию организации власти, при которой никто не должен иметь незаслуженных привилегий,

²⁵ Ibid. P. 73.

²⁶ *Berelovitch W.* La grande insurrection de Pougatchev (1773–1775): la révolte des primitifs // *Révoltes et révolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques de 1783 à 1802.* Paris, 2004. P. 61–81; *Tucker S.* Pugachev's rebellion (1773–1775) // *The Roots and Consequences of Civil Wars and Revolutions. Conflict That Changed World History.* Santa Barbara (California); Denver (Colorado), 2017. P. 139–146.

²⁷ Что касается истории культуры восстания, то интересное развитие получили выводы В. Береловича относительно воспоминаний о бунте: «Изучение этой литературы почти не обнаруживает явной преемственности: иными словами, допросы и свидетельские показания XVIII века не содержат намеков на восстания XVII века» (*Berelovitch W.* *Guerres civiles et révoltes...* P. 220). Однако это не означает, что память о восстаниях утеряна. Например, на Дону казаки сохранили предания о восстаниях, тем более что выступления С.Т. Разина и К.А. Булавина были лишь самыми яркими в длинном перечне более ограниченных конфликтов, следов которых мы уже не видим. Ведь рассказов и особенно песен, посвящённых Разину, было много — героических и хвалебных. См. также: *Griesse M.* *Popular memory...* P. 211–214.

и служить обязаны даже дворяне. Цель исследования — показать, как в русском обществе времён Екатерины II чувство «сиротства» (выражавшегося в ощущении, что государство отдало своих подданных на произвол дворянского сословия, что постоянно всплывало в наказах, посылаемых в Уложенную комиссию и в манифестах «Петра III»), приводило к тому, что группы с самыми разными интересами восставали против характерного для послепетровского государства дворянского гнёта и чиновной коррупции. Это не было стремлением вернуться в Московское государство или отрицанием государства как такового, а, как ни парадоксально, движением в защиту петровской государственности, воспринимаемой и идеализируемой через призму мифа о Петре III²⁸.

Я исходил из того, что самозванство «амператора Петра III» представляло собой попытку заглянуть в будущее и возвестить о том, что однажды время вельмож и коррумпированных чиновников закончится и начнётся новая эра. Несколько упрощая, можно сказать, что было два восстания: одно добивалось восстановления казачьих вольностей, а второе, начавшееся во время осады Оренбурга в октябре 1773 г. и усилившееся после образования второго очага в Уфе в декабре того же года, стремилось к изменению самого типа государства, возникшего и утвердившегося в России при преемниках Петра I, зависевших от придворной знати. После первых побед благодаря стихийному распространению движения у различных инородцев и русских крестьян, проживавших в регионе между Уралом, Средней Волгой и Камой, возникло общее видение целей. На горизонте восставших воздвигалось Государство, в котором собеседником царя была совокупность всех групп, входящих в его владения — идеальное Государство, в рамках которого русские и представители других этносов стремились к сохранению своего статуса и рассчитывали жить, подчиняясь общим законам²⁹.

Длительная осада Оренбурга не случайно стала переломным моментом в развитии пугачёвщины: именно необходимость привлечь на сторону восставших другие народы, а также длительный контакт между группами разного происхождения под стенами осаждённого города побудили руководство к упорядочению движения и выработке общих требований, основанных на патерналистском и всеохватывающем образе императорской власти. Изучение допросов арестованных повстанцев и указов, распространяемых ими в городах и сёлах, позволяет обрисовать «видение» восставших, построенное на мифе о воскресшем императоре.

На короткое царствование Петра III легко накладывались мифологизированные образы самодержца и надежды на справедливое правительство, внимательное к нуждам подданных. Церемониалы, созданные вокруг самозванца, манифесты и указы, распространяемые его штабом, вопреки устоявшемуся прочтению, дают возможность выдвинуть гипотезу о том, что пугачёвцы оспаривали не имперский замысел Екатерины II и не централизацию власти, а вырождение этих принципов. Иными словами, не мнимые успехи централизаторской политики обостряли недовольство крестьян, а, напротив, её провал. События 1773—1775 гг. вряд ли можно трактовать исключительно как «казачий бунт» или «пограничное восстание»³⁰.

²⁸ Natalizi M. La rivolta degli orfani... P. 62—94.

²⁹ Ibid. P. 96—162.

³⁰ Cecere D. Violenza... P. 1019.

Другой аспект — значение пугачёвщины для политических механизмов, в том числе и за пределами России. Эта тема, наименее изученная в историографии, относится к конструированию публичного дискурса, к борьбе за идеологическую гегемонию в национальной и международной публичной сфере. Речь идёт не только о прямых формах трансляции, но и о косвенных отзвуках, опосредованных, случайных, в настоящее время привлекающих всё большее внимание историков. Одним из свидетельств внимания к данной тематике является выход коллективного труда с выразительным названием «*Reverberations of Revolution. Transnational Perspectives*» («Отзвуки революции. Транснациональные перспективы») под редакцией Э. Аманн и М. Бойдена, посвящённого изображениям переворотов и восстаний, происходивших в других частях света или в более ранние времена, писателями, художниками, интеллектуалами, а также влиянию образа этих событий на политическую жизнь³¹. Революции обычно представляются как время новых начинаний и переосмысления всей политической системы, однако более уместно рассматривать их как повторяющиеся события, отражающиеся в нескольких плоскостях. В своём буквальном значении слово «*reverberations*» относится к многократному отражению волн, света, тепла или звуков от поверхностей. Под «отзвуками революции» подразумевается не просто эхо идей, дискурсов и предметов, но и то, как они отражают и как сами отражаются от идей, дискурсов и предметов других периодов и мест. Революционная мысль и культура часто влияют на другие регионы, в свою очередь преломляющие или перенаправляющие их. Революции, кроме того, могут отразиться и во времени³².

«Отзвуки пугачёвщины» уже несколько лет являются одной из центральных тем размышлений историка М. Гриссе. Он рассмотрел вопрос о том, как восстание 1773–1775 гг. через свои «отголоски» преломлялось (а иногда искажалось и упрощалось) в мировой общественной мысли, приобретало новые идеологические значения во Франции или германских государствах. Восстанавливая нити дискуссии, начатой Вентури, Гриссе проанализировал контекст, в котором публикации о пугачёвщине, появившиеся за рубежом, нарушили рисуемую Екатериной II картину подавления восстания³³. Императрица пыталась «предать забвению» события недавнего бунта, но заглушить отголоски восстания за пределами России она не смогла. В статье Гриссе анализируются две работы, к великому неудовольствию царицы вышедшие в свет за границей. Первая — «биография» Пугачёва «*Le Faux Pierre III*», написанная анонимным автором и опубликованная на французском языке в 1775 г. Здесь бунтарь изображён космополитом и просвещённым реформатором. Другая работа, вероятно, задуманная как реакция на первую, появилась анонимно на немецком языке в 1784 г. и представляла собой памфлет о восстании, показывая Пугачёва безграмотным зверем. Гриссе попытался понять, каким образом эти тексты были переведены на русский язык, когда появилась возможность обойти цензурный запрет, как отголоски из-за рубежа могли повлиять на внутреннюю политику империи. Важны и размышления о значении деформации, которую претерпевает образ событий при реконструкции. В данном случае речь идёт о французском и немецком контекстах последней четверти XVIII в., о сложно-

³¹ *Reverberations of Revolution...*

³² *Ibid.* P. 2.

³³ *Griesse M. Pugachev Goes Global. The Revolutionary Potential of Translation // Reverberations of Revolution... P. 13–35.*

сти системы перекрёстных ссылок, позволяющих спроецировать собственные потребности и идеи, драмы и иллюзии на события чужого прошлого.

Усилия немецкого историка направлены на то, чтобы не замкнуть осмысление текстов в герменевтическом контуре, изолированном от исторических и политических реалий. Заслуга статьи Гриссе заключается в том, что он на конкретных примерах показал сложность взаимосвязи между сюжетом революционных событий и формированием некой традиции их осмысления. Так, «биография» Пугачёва «*Le Faux Pierre III*», адресованная прежде всего французской аудитории, недавно ставшей свидетелем серии голодных бунтов и их подавления королевскими войсками в апреле—мае 1775 г., построена на завуалированном обличении деспотической власти и на размышлениях о преимуществах демократии. Через серию многослойных сопоставлений складывается понятный западноевропейскому мыслителю образ: вместо казака-самозванца перед читателем предстаёт космополитичный человек эпохи Просвещения, добросовестно изучивший все европейские политические системы и конституции, прежде чем вернуться на родину и бросить вызов Екатерине от имени её свергнутого мужа. Идея бунта была не только способом категоризации конфликта, но и репертуаром, из которого исторические действующие лица, сбивчиво или ясно, черпали мотивы и темы, пригодные для своих манипуляций.

Гриссе настаивает на важности «вытеснения» пугающего и тревожного образа восстания как архетипа подрывной деятельности: «Какое влияние оказала политика “проклятия памяти” на представления о восстаниях? Кто и когда писал о событиях после указа об их предании забвению? В какой степени международные отражения и сопутствующие акты перевода и их ретрансляции сформировали образ лидера повстанцев?»³⁴. Отвечая на эти вопросы, Гриссе умело реконструирует цензурную политику Екатерины, направленную на предание восстания забвению и на предотвращение угроз, связанных с появлением публикаций о нём за рубежом. Автор показывает, как именно этот механизм мог стать индикатором восприятия революционного характера событий 1773—1775 гг., разрушая сложившийся в историографии образ напрасного и архаичного восстания.

В заключение подчеркну, что пугачёвщина всё ещё заслуживает внимания историков. Одна из гипотез, на основе которой можно было бы строить её изучение, состоит в том, что обращение к силе являлось лишь одной из форм борьбы (хотя и наиболее радикальной), с помощью которой сообщества пытались достичь своих целей, в том числе политических, отстаивать собственные права, интересы и привилегии. Последние исследования показывают, что насильственный протест многочисленных социальных групп, населявших район восстания, оказался завершающим этапом того, что можно назвать «микрopolитикой сообщества», в которой различные формы представительства, давления, убеждения и санкций предшествовали прямым протестным действиям. Наряду с «революциями» тех лет пугачёвский бунт, благодаря его европейским отголоскам, помогает лучше понять фазу кризиса старого режима, характеризующуюся расширением и соединением общественных сфер, идеологической радикализацией и политической поляризацией.

³⁴ Ibid. P. 15.